

Если что и волнует меня с годами, так это истории человеческих судеб. Рассказанные без особых подробностей, просто, даже отстраненно, — они как монолог попутчика в поезде дальнего следования. И после бессонной ночи все смешается: имена людей и городов, даты встреч и расставаний. Останутся в памяти желтые полосы света от фонарей на полустанках, слуховое окно, мелькнувшее в заброшенном доме, и глуховатый голос, временами зависавший в попытке подобрать слово... Самое дорогое тут: голос рассказчика. Как пресечется он в неожиданном месте, или вдруг смягчится в улыбке, или замрет, будто заново удивившись давно прожитому.

Кстати, многие из этих историй я услышала именно в поезде или в самолете — словом, в пути. Видимо, само ощущение дороги побуждает нас заново осмыслить давние события, вслух размышляя о том, что изменить уже невозможно.

Дина Рубина

Медная шкатулка

— Ничего, что я все болтаю, болтаю?.. Скажите, когда надоем, не стесняйтесь, ладно? Просто вы так хорошо слушаете, а в поезде так славно разговор течет...

Вот мы говорили о семейном предопределении. Если позволите, я — о своей семье. Не пугайтесь, скучно не будет. Истории прошлого века в любом случае занимательны.

Итак, представьте девушку из мещан, гимназисточку-егозу, пророманенную книгами до последней легчайшей кудряшки. Подмосковный городок с летними павильонами, где на подгнивших от дождей подмостках дают спектакли наспех сколоченные труппы заезжих актеров. Как можно не влюбиться в плечистого-речистого героя? Как можно не пропасть в его улыбке, в рокоте его баритона, как можно унять восторженную дрожь, когда он — Гамлет — произносит начальные фразы своего знаменитого монолога?

Не буду утомлять вас атрибутами романтической страсти: всеми этими букетами, записочка-

8 ми, условленными встречами в беседке над рекой. Скажу сразу: она сбежала с трупной. Это была моя бабушка.

Лет через пять герой оставил ее уже в другом подмосковном городе одну, с двумя детьми; старшему было четыре, младшему, моему отцу, — годик. Теперь вообразите ее положение: к тяжелой работе не приучена, денег ни копейки, дети голодают, малыш вяжет руки. Чем зарабатывала? Изредка давала уроки немецкого или латинской грамматики девочкам из не слишком щепетильных семей, ибо столь безнравственную особу тоже ведь не на каждый порог пустят. Написала она родне покаянное письмо, но в ответ ни слова не дождалась; мой прадед и без того крутоват был, а тут случай особый: эдак-то его дочь ославила — на весь город! Трудно ему было позор проглотить. Словом, беда, настоящая беда, хоть вешайся.

И в такой-то тяжкий момент к ней с тайным визитом вдруг приезжает семейная пара: ее троюродная сестра с мужем. Адресок, стало быть, добыли из того самого ее письма, каждая буква которого вопила о спасении. Люди они были состоятельные, порядочные и уж десять лет как женаты, но... ребеночка все бог не давал, и надежда на это совсем истаяла. А я и сейчас восхищаюсь их расчетом: как всё толково обмозговали, как грамотно ловушку расставили! Часа через два пустой болтовни бабушкина сестра вдруг заплакала и сказала:

— Соня, отдай нам младшенького! Мы тебе помогать станем, вроде пенсионера положим. Ты вздохнешь, подкормишься, оглядишься. Челове-

ком себя почувствуешь. И себя сохранишь, и старшего вытянешь...

Такое вот выгодное предложение: продай, мол, сына. Если, конечно, не хочешь сгинуть вместе с обоими... А куда деваться? Жизнь штука подлая, злая. И сидели они трое: женщины ревели белугами, мужчина тоже сильно переживал. Сами понимаете, речь ведь не о болонке, а о живом малыше.

И решилась она. Приняла этот неминуемый выбор судьбы. А как еще могла обоих детей спасти?

Только одно условие ей и поставили, зато уж жестокое: не появляться. Раз в году могла она приехать и глянуть на сыночка издали, из-за угла дома или в витрину кондитерской, куда его нянька водила пирожными угощать. Страшно тосковала, страшно! Но и радовалась каждый раз, потому как видела: сынок одет-обут, да при няньках, да такой красавчик и... так на нее похож!

Вот поглядите-ка на меня внимательно: заметили легкую косинку в левом глазу? Это родовая печать. Такая у бабушки была, у моего отца, у меня. И хотя договорилась она с приемными его родителями, что шкатулку с документами о рождении они закопают под грушей у себя в саду — мало ли что с людьми случается, целее будет, — эта легкая характерная косинка, ежели что, лучшим доказательством родства служила. Сразу было понятно, кто кому и кем приходится.

А дальше что? Дальше грянула революция. Парню уже лет семнадцать исполнилось, и он — рослый, красивый, дерзкий — ринулся в эту самую революцию очертя голову и сердце. По характеру, понимаете ли, заводилой был. Как это сейчас го-

10 ворится: прирожденный лидер. Сквозь революцию и Гражданскую войну прошел, как нож сквозь масло, со всех трибун в светлое будущее народ зазывал. Видимо, артистизм родного папани унаследовал. Был он уже крупной шишкой в НКВД, женатым человеком, отцом двоих сыновей. Его приемный отец давно, еще в начале революционной мясорубки, скончался от разрыва сердца. Еще бы: видеть, как отнимают твою ткацкую фабрику, забирают дом и все нажитое. А главное — видеть, что возглавляет всю эту банду возвращенное тобою дитя! Тут любой от ужаса и горя концы бы отдал. Ну а жена его несчастная вслед за ним последовала. Не захотела жить. Наглоталась чего-то, уж и не знаю — чего именно, и померла.

И тогда...

Знаете, люблю я этот поворотный круг в любой истории, исконный, древний, еще из греческих трагедий поворот ржавого рычага, выпускающий на сцену нового либо подзабытого персонажа. Бывает, слушаешь, слушаешь чью-то историю, и ждешь не дожدهшься: когда же наконец будет произнесено это самое *и тогда?*..

И тогда на сцене появилась родная мать.

Знаете, что интересно, — я ведь помню тот день. Не поверите: крошкой был, три годика, но почему-то запечатлелась в памяти эта сцена. Наверняка был в ней такой накал, такая драматическая сила... ведь дети, они как животные — чувствуют напряжение в воздухе. Мы со старшим братом играли на полу, строили из кубиков конюшню для деревянного коня, из-за которого постоянно дрались. А мать в кухне крутилась, тесто на пирожки рас-

катывала. Почему помню, что тесто? А у нее руки были в муке. Ну слушайте...

Позвонили в дверь, мать открыла. На пороге стояла пожилая женщина. Вот закрою глаза, и передо мною — стоит она и стоит. Молчит и порога не переступает. И мать молчит и тревожно так, вопросительно смотрит на нее.

Понимаете, на трезвый внимательный взгляд ей ничего и доказывать не надо было — сын был похож на нее, как две капли воды. Просто одно лицо. Косинка эта характерная, которая так особенно, так лукаво направляет взгляд. И что поразительно: невестка, наша мать, приняла ее с распростертыми объятиями, — помню, на спине у гостьи отпечатались на макинтоше обе мучные мамины пятерни. Нам, детям, сказала: это ваша бабушка, «мамашей» ее сразу стала называть.

А отец...

Он, когда с работы вернулся, выслушал историю с каменным лицом и сказал: у меня мать одна, та, что меня воспитала. Другой у меня нет и не будет. Не верю я в эти байки... Тогда гостья ему говорит: «Сынок, я тебе могла бы доказать, ведь там у вас в саду под грушей шкатулка медная с документами о твоём рождении закопана...» А отец ей: «Кан-е-ешна, шкатулка! «Всадник без головы!» Рукой махнул и отвернулся.

В том доме давно, уже лет десять, как дворец пионеров был. Но сад сохранился, и груша старая как росла, так и осталась, правда, не плодоносила. Можно было бы выкопать ту шкатулку. Но только зачем: какая там шкатулка, когда на одно лицо мать и сын. Но отец даже говорить с ней не желал. И впредь оставался как кремень...

12 Бабушка к тому времени совсем одна осталась. Старший ее сын, Семен, дядя Сеня, от тифа еще в Гражданскую помер. И видно, так обожгло ее в юности, что женская ее судьба прошла неинтересно, скудно.

Она приходила смотреть за нами, возилась по хозяйству, всю работу делала по дому, очень помогала маме, и та ее уважала и любила. А отец молчал, и так, по молчаливому обоюдному уговору, ко времени его возвращения с работы бабушка должна была уйти. Редко-редко задержится, если кто-то из нас, детей, болеет.

Помню один такой день. Я лежу с камфарным компрессом на шее, а бабушка напекла мне горячих шанежек, чтобы мягко глотать... И тут отец вернулся, и она суетливо так на стол ему — тарелку с горячими шанежками, и чай крепкий, сладкий. А он, опустив голову, с такой горечью вдруг:

— Софья Кирилловна, почему ж вы отдали меня, а не брата?

И в ответ — тишина...

Я вам не надоел еще со своими родичами? Интересная штука: начинаешь рассказывать новому человеку события чуть не восьмидесятилетней давности, а как вспомнишь эту бездонную беззащитную тишину на вопрос взрослого мужчины, так горло и перехватит...

Ну дальше все просто: трагедию нашей семьи разрешил НКВД — отца арестовали в 39-м и, как потом уже я узнал, сразу и расстреляли. Бабушка переселилась к нам и так дожила с нами до смерти.

У нее знаете какой талант был? Она в уме считала мгновенно. Под старость с палочкой ходила по магазинам, стояла в очередях. И если кассир-

ша обманет на копеечку-две, она протянет руку со сдачей и стоит, смотрит, смотрит, пока взбешенная тетка в ладонь ей не бросит недостающую монетку.

Так и вижу ее: стоит и смотрит, молча смотрит в свою ладонь с двумя грошами...

Вот что мучает меня всю жизнь: как вы думаете, горевала она, когда обретенного сына на смерть забрали, или испытала облегчение? А еще простить себе не могу, что, выросши, не откопал под грушей ту медную шкатулку с документами о рождении отца. Зачем? А бог ее знает. Все ж семейная реликвия...

Медальон

— О-о... такая это даль незаглядная — мама ж родилась в восемнадцатом году!

Между прочим, отличная идея — давать в газете галерею судеб двадцатого века. Получается настоящий портрет эпохи. Лично я считаю, в этом деле, как в антиквариате: любая, даже незамысловатая вещь через сто лет становится ценной. И жаль, что припоздали: еще три года назад вы могли бы взять интервью лично у мамы — она до последней минуты оставалась в ясной памяти. Но я попробую.

Значит, восемнадцатый год, окраина рухнувшей империи, Владивосток, власть гуляет от белых к красным, а банд этих разных, шаек-леек зеленых-коричневых, — тех вообще без счету. И дед мой, отец моей мамы, точно так же переходил от белых к красным и обратно, а по пути еще заруливал к каким-нибудь бандитам. Тот еще был деятель, как я понимаю. В семье появлялся, будто полная луна — хорошо, если раз в месяц.

И вот пришла пора бабушке рожать; прихватило ее прямо на бульваре, а поскольку никто не

подходил помочь (многие знали ее мужа и обхотили роженицу за сто метров), — так она и погибала форменным образом. Присела на скамейку, обхватила живот, и уж ни встать, ни двинуться — никакой возможности.

В эти именно минуты проезжала по бульвару кавалькада во главе с любовницей атамана Семёнова.

Вы когда-нибудь слышали, читали о ней? Очень жаль: это была фигура удивительная, из тех, кого называют харизматической личностью. Впрочем, ее по-разному называли: Маша-цыганка, Мария Нахичеванская, Маша-ханум. Красивая была, экстравагантная, на собственном поезде разъезжала, вся в мехах и драгоценностях. Японские журналисты называли ее королевой бриллиантов. Словом, истинно: атаманша.

Увидев душераздирающую сцену стремительных родов, Маша-цыганка остановилась, спешила и велела своим бугаям отнести роженицу в ближайший дом. А хозяевам этого дома велела помочь женщине, пригрозив, что собственноручно спалит «халабуду» до последнего уголька, если те сей момент не сбегают за акушеркой. И те, само собой, очень быстро побежали, ветер в ушах свистел. Акушерка была привезена, за пролетку уплачено, и бабушка благополучно родила мою маму.

На другой день любовница атамана приехала навестить спасенных ею мать и дитя, нарекла девочку Марией (в честь себя, несравненной), сняла с шеи медальон и подарила крестнице. Сказала: на память и счастливую судьбу.